Приложение 1. Выбранные места из книги С.Алексиевич «Последние свидетели»

**«А я все равно хочу маму…»**

 Зина Косяк — 8 лет.

В сорок первом я окончила первый класс, и родители послали меня на лето в пионерский лагерь Городище под Минском. Я приехала, а через два дня война. Нас начали вывозить из лагеря. Посадили в поезд и повезли. Мы, дети, ничего не понимали. Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!» Пока нас не стали бомбить. Потом мы видели, как горел Минск. К нам уже пришел страх.

Нам, когда мы уезжали из лагеря, каждому в наволочку что-нибудь насыпали — кому крупы, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли, всем давали что-то с собой. Хотели взять как можно больше продуктов. И эти подкупы очень берегли. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они были измученные, им было так больно, что мы все отдавали этим солдатам. Это называлось: «Кормить пап». Всех военных мужчин мы называли папами.

Везли нас больше месяца. Направят в такой-то город, приедем, а оставить нас не могут, потому что уже близко немцы. И доехали так до Мордовии.

Место было очень красивое, там кругом стояли церкви. А спать было не на чем, спали на соломе. Когда нас застала зима, на четверых были одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести пятьдесят детей, и однажды было так, что пришли мы на обед, а есть вообще нечего. Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них полные слез. А была у нас лошадь Майка, она была очень ласковая, мы возили на ней воду. На следующий день убили эту Майку и давали нам воду и такой маленький кусочек Майки. Мы только потом узнали, что убили Майку, от нас это скрывали, мы все ее очень любили. Это было единственное животное в нашем детдоме.

Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких километров вокруг детдома не распускалось ни одно дерево, мы съедали все почки. Ели траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили отдельно, и по ночам рев слышался очень долго. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил «мама», сразу начинался рев.

/…/Война кончилась, я жду день, два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Я еще не знала, что они погибли. Прождала я так две недели, больше ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала… Куда?.. Не знала. Я думала, это же детское сознание еще было, что все поезда едут в Минск. А в Минске меня ждет — мама!

И вот мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я все равно хочу маму…

**«Они нам пахли мясом…»**

 Зина Гурская — 7 лет.

…Дети грудные заболеют. Чем лечить? Заваривали кипятком яйцо, и эту водичку давали вместо молока. У нас одна курица осталась, она с нами в хате жила, с нами спала, с нами от бомб пряталась. Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы ни голодали, а курицу спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила все кожухи и кнуты, а нам они пахли мясом.

После войны ни коней, ни коров в деревне не осталось. Одна наша курица. Мужчин старше четырнадцати лет не было.

Я пошла в школу, и что я могла взять с собой. Оторвала то стены кусок старых обоев. Это была моя тетрадка. Выросли осенью бураки, так мы радовались, что сейчас натрем бураков и у нас будут красные чернила. День-два они постоят и становятся черными. Уже было чем писать.

Еще помню, что мама и я любили вышивать гладью, обязательно, чтобы веселенькие цветочки были. Черных ниток я не любила…

**«Играть на улице не с кем…»**

 Валя Никитенко — 4 года.

В детской памяти запечатлевается все, как на фотографии. Отдельными снимками.

…Мама просит:

— Бежим-бежим… Топаем-топаем… — у нее руки заняты. А я капризничаю:

— У меня ножки болят.

Трехлетний братик толкает меня:

— Безым (буквы «ж» он не выговаривал), а то немцы догонят. — И бежим рядом молча.

От бомб я прячу голову и куклу, а кукла уже без руки и без ног. Плачу, чтобы мама ее перевязала.

…Кто-то принес маме листовку. Они с бабушкой говорят, что дядя в партизанах. А по соседству у нас жила семья полицая. И, знаете, как дети, выйдут, и каждый хвастается своим папой. Их мальчик говорит:

— У моего папы автомат…

Я тоже хочу похвастаться:

— А нам дядя принес листовку…

Это услышала мать полицая, она пришла к маме предупредить, что смертельная беда нашей семье, если ее сын услышит, как я рассказываю детям про листовку.

Мама позвала меня с улицы и просит:

— Доченька, не будешь больше рассказывать?

— Буду!

— Нельзя рассказывать.

— Ему можно, а мне нет.

Тогда она достала прутик из веника, а стегать меня ей жалко. Поставила в угол:

— Не будешь? А то маму убьют…

— Прилети на самолете наш дядя из леса и спасет тебя.

Так и уснула в углу.

…Горит наш дом, меня выносят на руках сонную. Пальто и ботиночки сгорели. Я хожу в мамином пиджаке, он до самой земли.

Живем в земляничке. Вылезаю из нее и слышу запах пшенной каши, заправленной салом. Мне и теперь вкуснее еды нет, чем пшенная каша, заправленная салом. Кто-то кричит: «Наши пришли». На огороде у тети Василисы, так говорит мама, а дети тетю Василису зовут «бабой Васей», стоит походная солдатская кухня. В котелках нам раздают кашу, помню точно, что в котелках. Как мы ели, не знаю, ложек не было.

…Мне дают кружку молока, а я уже забыла о нем за войну. Молоко налили в чашку, она у меня упала и разбилась. И я плачу, все думают, что я плачу потому, что чашку разбила, а я плакала, что разлила молоко. Оно такое вкусное, и мне его больше не дадут.

…Дети заразились дифтеритом. Умирают. Я убежала из-под замка хоронить соседских мальчиков-близнецов, с которыми дружила. Стою у гробиков в мамином пиджаке и с босыми ногами. Мама вытаскивает меня оттуда за руку. Ждет с бабушкой, что и я заразилась дифтеритом. Нет, я только кашляю. В деревне после дифтерита не осталось детей, играть на улице не с кем…

**«Кто будет плакать, того будем стрелять…»**

 Вера Ждан — 14 лет.

…Нас взяли под автоматы и повели. Повели в лес на поляну. «Нет, крутит головой немец. — Не тут…» Повели дальше. Полицаи говорят: «Роскошь положить вас, партизанских бандитов, в таком красивом месте. Положим в грязи».

Выбрали самое низкое место, там всегда вода стояла. Дали отцу и брату лопаты копать яму. А нас с мамой под деревом поставили смотреть. Мы смотрели, как они выкопали яму, брат последний раз лопатой кинул: «Эх, Верка!..» Ему шестнадцать лет было.

Мы с мамой смотрели, как их расстреливали. Брат упал не в яму, а перегнулся от пули и вперед ступил, сел возле ямы. Сапогами спихнули его в яму, в грязь. И больше всего страшно было не то, что их постреляли, а то, что в липучую грязь положили. Поплакать нам не дали, погнали в деревню. А их даже песочком сверху не присыпали.

Два дня плакали мы с мамой тихо, дома. На третий день приходят тот же немец и два полицейских: «Собирайтесь хоронить своих бандитов». Мы пришли на то место, они в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А ни говорят: «Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь…» Они заставляли нас улыбаться. Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает: улыбаюсь я или плачу?

Стоят… Все молодые мужчины, красивые… И такое приказывают… Великий страх обнял мое сердце, я уже не мертвых, я этих, живых, боялась. Молодых… С того времен боюсь молодых мужчин. Всю жизнь одна живу… Замуж не вышла…

**«Золотые слова…»**

 Ира Мазур — 5 лет.

…У одной девочки, у Леночки, одеяло было красное, а у меня коричневое. И когда летели немецкие самолеты, мы ложились на землю и накрывались одеялами. Снизу красным, а поверх моим, коричневым. Я девочкам говорила, что летчик. Сверху увидит коричневое и подумает — камень…

О маме в памяти осталось только, как боялась ее потерять. Я знала девочку, у которой мама погибла при бомбежке, она одна осталась. Она все время плакала. Моя мама брала ее на руки и успокаивала. Потом помню, как мы с чужой тетей хоронили в деревне маму. Мы ее мыли, она лежала худенькая, как девочка. Я ее не боялась, было жалко ее. Как обычно, пахли ее волосы и руки, куда ее ранило, не помню. Видно, ранка была пулевая, маленькая. Почему-то думала, что ранка у мамы от пули маленькая, на дороге один раз я видела маленькие пули. И еще удивлялась: как этими пулечками можно убить большого человека? Даже меня, я же в тысячу, в миллион раз ее больше. Почему-то мне запомнился этот миллион, мне казалось, что это очень и очень много, так много, что нельзя сосчитать.

Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открывала глаза:

— Ира, мне надо тебе рассказать…

— Мама, я не хочу…

Мне казалось, что, если она мне скажет то, что хочет, она умрет.

Когда мы маму помыли, она лежала в платочке, с большой косой. Девочка… Это уже сегодняшний мой взгляд на нее. Я уже старше ее в два раза, маме было двадцать пять лет. У меня сейчас дочка такая.

Что у меня осталось от детдома? Категоричный характер, я не умею быть мягкой, осторожной в словах, потому что я росла без мамы. В семье жалуются, что я не очень ласковая. Можно ли вырасти ласковой без мамы?

В детдоме мне хотелось иметь свою, личную чашечку. чтобы она была только моя. Всегда завидовала, что у людей остаются какие-то вещи с детства. А у меня их нет, ни о чем я не могу сказать: «Это у меня с детства». А так хочется сказать, иногда даже придумать.

Другие девочки влюблялись в наших воспитательниц, а я любила нянечек. Они больше были похожи на наших воображаемых мам. Воспитательницы были строгие и аккуратные, а нянечки вечно растрепанные, по-домашнему ворчливые, могли отшлепать нас, но совсем не больно. По-матерински. Они нас мыли, стирали в бане, мы могли вскарабкаться на них. Они дотрагивались до нашего голенького тела. А это только мама могла делать, вот я это понимала. ни нас кормили. своими способами лечили от насморка и вытирали слезы. Когда мы попадали к ним в руки, это был уже не детдом, а начинался дом.

Другие слышу, говорят: «Моя мать» или «Мой отец». Я не понимаю, как это — мать, отец? Будто это чужие люди. Только — мама или папа. А если бы они у меня были живы, я звала бы их: мамочка и папочка. Золотые это слова…

**«Доченька, запомни это на всю жизнь…»**

 Аня Корзун — 2 года.

…Мне запомнилось девятое мая сорок пятого года. В детский сад прибежали женщины:

— Дети, победа!

Стали нас всех целовать, включили репродуктор. Все слушали. А мы, маленькие, слов не понимали, мы понимали, что радость идет оттуда, сверху, из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках взрослые… Кто сам лез… Залазили друг на дружку, только третий или четвертый доставал до черной тарелочки и целовал ее. Потом менялись… Всем хотелось поцеловать слово «победа»…

Вечером над городом поднялся салют. Мама открыла окно и заплакала:

— Доченька, запомни это на всю жизнь…

А я боялась.

Когда вернулся с фронта отец, я его боялась. Он даст мне конфету и просит:

— Скажи: папа…

Возьму конфету, спрячусь с ней под стол:

— Дядя…

У меня всю войну папы не было.